DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.045
УДК 82-94 + 82(091) + 82.091

И. В. Ерохина
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Тула, Россия

ПРОБЛЕМА НЕДОСТОВЕРНЫХ МЕМУАРОВ: СЛУЧАЙ АХМАТОВОЙ

В статье рассматривается одна из ключевых проблем рецепции мемуарного текста, связанная с противоречием, заложенным в самой специфике жанра. Лидия Гинзбург обозначила его как соединение двух противонаправленных принципов: обязательной «установки на подлинность», с одной стороны, и субъективности как «фермента “недостоверности”» — с другой. Мемуар, будучи по существу правдивым свидетельством, не является дистиллированным документом, очищенным от разного рода непреднамеренных искажений, связанных с неполнотой знания мемуариста, его заблуждениями или личной интерпретацией излагаемых фактов. Различая вслед за В. Тюпой понятия дискурса и жанра, на примере реакции Ахматовой на два мемуарных текста и работу с ними исследователей, мы показываем следующее: 1) характеристику «достоверный / недостоверный» мемуарный текст приобретает только в пространстве коммуникативного события, т. е. в дискурсе; 2) работая с заведомо недостоверным свидетельством, Ахматова применила логику Ю. Лотмана, согласно которой ключевым в работе с источником является не его правдивость или недостоверность, а правильно установленное «соответствие между типом источника и методикой его обработки». В первом случае Ахматова выступила как критик авторов своей биографии, использовавших книгу Г. Иванова «Петербургские зимы» в качестве достоверного исторического источника и исказивших важнейший факт ее творческого пути. Во втором — доказала, что воспоминания князя Трубецкого об отношениях Пушкина и Александрины Гончаровой «из маразматического бормотания», отвергнутого П. Щеголевым как ложь, «превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса».

К л ю ч е в ы е с л о в а: мемуары; жанр; дискурс; недостоверность; Георгий Иванов; Петербургские зимы; Страховский; Щеголев; Трубецкой; Пушкин.

Ц и т и р о в а н и е: *Ерохина И. В.* Проблема недостоверных мемуаров: случай Ахматовой. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.045 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 36–50.

Поступила в редакцию 16.05.2019
Принята к печати 21.06.2019

© Ерохина И. В., 2019

CC BY-NC

Irina V. Erokhina
Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University
Tula, Russia

THE PROBLEM OF INAUTHENTIC MEMOIRS: AKHMATOVA'S CASE

This article considers one of the key issues in the reception of memoirs, i.e. the contradiction embedded in the specific character of the genre. Lidiya Ginzburg defined it as an interconnection of two counter-directed principles: the mandatory "strife for authenticity" on the one hand, and subjectivity as an "'inauthenticity' catalyst" on the other. Being a truthful testimony, a memoir is not a distilled document, purified from different unpremeditated distortions, caused by the incomplete knowledge of the memorialist, their delusions or personal interpretation of stated facts. Agreeing with V. Tyupa's differentiation between discourse and genre, the author analyses Akhmatova's reaction to two memoirs and the way scholars treated them and demonstrates the following: 1) a memoir can be regarded as authentic / inauthentic only within a communicative event, i.e. discourse; 2) working with an admittedly inauthentic testimony, Akhmatova applied Lotman's logic. According to this logic, the key factor in working with a source is neither its authenticity, nor its inauthenticity, but the rightfully stated "correlation between the type of the source and the methodology of its analysis". In the first case, Akhmatova became a critic of the authors of her biography, who used the book *Petersburg Winters* by G. Ivanov as a reliable historical source and thus disfigured the corner stone of her creative development. In the second case, she proved that the memoirs of Prince Trubetskoy about the relationship between Pushkin and Aleksandra Goncharova turned from "delirious mumbling" rejected by P. Shchegolev as falsehood into "a document of paramount importance as the only and true story told by d'Anthès himself".

K e y w o r d s: memoirs; genre; discourse; inauthenticity; Georgy Ivanov; *Petersburg Winters*; Strakhovsky; Shchegolev; Trubetskoy; Pushkin.

C i t a t i o n: Erokhina, I. V. (2019). Problema nedostovernykh memuarov: sluchai Akhmatovoi [The Problem of Inauthentic Memoirs: Akhmatova's Case]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 36–50. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.045

Submitted on 16 May, 2019
Accepted on 21 June, 2019

Попытки теоретического осмысления феномена мемуарного текста предпринимались филологами не раз. Но и сегодня мы можем согласиться с Ахматовой — мемуары «какой-то непроявленный жанр». До сих пор в этой области интересов литературоведения больше вопросов, чем ответов. Это относится и к базовому конститутивному признаку мемуаров — «установке на подлинность» [Гинзбург, с. 10]. В предполагаемом введении к своей будущей автобиографической книге А. Ахматова со свойственной ей категоричностью писала: «Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя: 20 % мемуаров

так или иначе фальшивки» [Записные книжки, с. 555]. Это знаменитое утверждение в силу грамматической специфики слова «мемуары», принадлежащего к разряду *pluralia tantum*, может быть истолковано двояко: 1) пятая часть всего корпуса мемуарных текстов не является достоверной (из чего следует излишне оптимистичный вывод: остальным 80 % можно доверять); и 2) пятая часть любого, даже самого добросовестного в отношении фактов мемуарного текста неизбежно содержит недостоверную информацию. Ахматовское уточнение «так или иначе» предполагает довольно широкий диапазон этиологии и типологии «ошибок» автора-свидетеля, ставящих под сомнение базовый принцип мемуарного дискурса — документальность. Действительно, если задаться вопросом о том, могут ли тексты лгать[1], то группу риска потенциальных «фальшивок» возглавят именно мемуары. Это связано с тем, что высказывания, открыто заявляющие о своей фикциональности принадлежностью к какому-либо из традиционных жанров литературы, оказываются вне пределов применения критерия «достоверное / недостоверное». «Фикциональное высказывание, как не раз повторяли философы вслед за Фреге, не является ни истинным, ни ложным (но лишь возможным, как сказал бы Аристотель), либо же является и истинным, и ложным одновременно: оно лежит по ту сторону истинного и ложного, или же не достигает их различия» [Женетт, с. 477]. Тогда как мемуарный текст, претендуя на фактуальность и нефикциональность, изначально содержит «некий фермент “недостоверности”», который «заложен в самом существе жанра» [Гинзбург, с. 9].

Задача нашей статьи — доказать, что текст-воспоминание приобретает характеристику «достоверный» или «недостоверный» исключительно в пространстве мемуарного дискурса, поскольку категория достоверности релевантна только в рамках коммуникативного события. Она вообще является категорией дискурса, а не текста.

В связи с этим следует сделать важное методологическое уточнение: что есть дискурс, что есть жанр, что есть конкретный текст определенного жанра и текст определенного жанра в рамках определенного дискурса. Вслед за В. Тюпой мы будем различать дискурс как «единичное (монотекстовое) коммуникативное событие, обладающее инвариантной жанровой структурой текстопорождения» (дискурс I), дискурс как «интертекстуальное коммуникативное пространство, как правило, разножанровое», полевую структуру, ограниченную «регулятивными границами социокультурных практик» (дискурс II), и жанр как «теоретический конструкт», «инвариант одноименного дискурса» [Тюпа]. Важным для нас является следующий из этого различения вывод исследователя:

> Отказывая тексту в его художественности или научности, философичности или сакральности, мы его аннулируем в качестве дискурса: негодный текст, не реализующий свою специфическую интенциональность, не несет в себе коммуникативного

[1] Тема «Могут ли тексты лгать? К проблеме работы с недостоверными источниками» обсуждалась на Четвертых Лотмановских днях в Таллиннском университете в 2012 г.

события (события индивидуальных ментальностей). Однако даже конвенционально негодный (в рамках актуальной для него культурной парадигмы) текст неизбежно обладает некоторой жанровой определенностью. Наиболее существенно то, что оба ряда размежевывающих характеристик, как правило, приложимы, хотя и в различных пропорциях, к *одному и тому же тексту* [Тюпа].

Изначальная конвенция между автором мемуаров и читателем такова: то, о чем я здесь вспоминаю, — правда. Поэтому признавая мемуарный текст недостоверным, читатель тем самым оценивает его как выпадающий из границ договора. Соответственно, те «эффекты», о которых будет идти речь далее, есть эффекты дискурса, а не жанра, при том что их возникновение предопределено его (жанра) конститутивными чертами.

Мы рассмотрим два примера реакции Ахматовой на недостоверные мемуары и их использование в качестве документального свидетельства в научной литературе.

Ахматова *vs* Страховский

В одной из записных книжек Ахматовой находим:

> Чувство, с кот<орым> я прочитала цитату из «Пет<ербургских> зим», относящуюся к моим выступлениям («Дом лит<ераторов>») 1921 г., можно сравнить только с последней главой «Процесса» Кафки, когда героя просто ведут на убой у всех на глазах и все находят это в порядке вещей. В этой цитате нет ни слова правды — стихотворение
>
> Все расхищено, предано, продано,
> Черной смерти мелькало крыло,
> Все последней голодной тоскою изглодано...
>
> автор изображает образцом продажной лирики и примером того, как я исписалась. Слушатели якобы «по привычке хлопали». По привычке никто не хлопает, или хлопают дверьми, уходя.
>
> Люди до сих пор с волнением вспоминают эти вечера и пишут мне о них. А вот Георгий Иванов и Оцуп уже в то время были чрезвычайно заняты всяческой дискредитацией моих стихов. Они знали некоторые подробности моей биографии и думали, что мое место пусто, и решили передать его И. Одоевцевой [Записные книжки, с. 145–146].

Для тех, кто знает фрагмент «Петербургских зим», из которого взята цитата, ахматовское обвинение Г. Иванова в намерении «дискредитировать» ее стихи может показаться абсурдным. Весь упомянутый эпизод строится на противопоставлении подлинного величия поэта, «с каждым годом головой перерастающего самое себя», и слушателей, ждавших от него «новых перчаток»: «Все курсистки России, выдавшие ей “мандат” быть властительницей их душ, — обмануты» [Иванов, т. 3, с. 647–648]. Причины гневных филиппик в адрес «Петербургских зим» исследователи склонны видеть прежде всего в предвзятом отношении Ахматовой к их автору (о ее нелюбви к Георгию Иванову известно, например, по дневникам П. Лукницкого и запискам Л. Чуковской), а также в стремлении контролировать

реконструкцию собственной биографии в соответствии не столько с подлинными фактами, сколько с собственной концепцией. Не отрицая возможного присутствия этих причин, стоит все же задаться несколькими вопросами и расширить область поиска объяснений.

Во-первых, почему Ахматова поставила себе целью дезавуировать «смрадные мемуарии» Иванова, публиковавшиеся в 1920-е гг., только через тридцать лет (например, М. Цветаева и И. Северянин свои отповеди написали по горячим следам)? Чем объяснить ее, на первый взгляд, параноидальную (в терминах У. Эко) интерпретацию фрагмента из книги Иванова, который иначе как панегирик истолковать, казалось бы, невозможно?

Думается, внутренняя логика этой истории следующая. Литературные достоинства «Петербургских зим» никогда не подвергались сомнению. Упреки критики всегда сводились к одному — факты, излагаемые Г. Ивановым, во многом недостоверны. Но, как уже было сказано, критерий достоверности может быть применен только в рамках мемуарного дискурса. Цитируя отзывы современников Г. Иванова, для которых было очевидно, что в «Петербургских зимах» «много “романсировано”, или, говоря попросту, наврано» (Ю. Иваск), исследователь В. Крейд высказывает сомнение:

> В какой мере эти и подобные упреки состоятельны и справедливы? Прислушаемся к свидетельству Одоевцевой, в чьем присутствии создавалась эта книга: «Я считаю, что она восхитительно передает общую атмосферу того времени, не очень считаясь с реальностью. Это произведение творческое, литературное и на точность оно не претендует, по-моему, его вообще неверно относят к мемуарам». <...> Дружественно настроенному к нему Владимиру Маркову он [Г. Иванов] нечто подобное сообщал...: «Я вот никогда не ручался, пишу то да се за чистую правду. Ну и привру для красоты слога или напутаю чего-нибудь» [Крейд].

Да и в самой книге автор, казалось бы, вполне определенно снимает с себя ответственность за документальную правдивость рассказанного: «Есть воспоминания как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем “так недавно и так давно”, никогда не знаешь — где воспоминания, где сны» [Иванов, т. 3, с. 118].

Стремясь выразить двойственную природу текстов Иванова, Крейд называет их «беллетризированными мемуарами». По сути, это определение призвано не столько обозначить жанровую модель (пусть и окказиональную), сколько указать на дискурс, в границах которого противоречие между нефикциональностью ономастики и полуфикциональностью сюжетики «Петербургских зим» может быть снято. Беллетризированность (вымышленность) и мемуарность (документальность) не конфликтуют только в дискурсе фикциональной литературы, где «фактическая достоверность изображаемого <...> становится эстетически безразличной» [Гинзбург, с. 9], при этом всё, что заимствуется из действительности, «превращается в элемент вымысла» и «не выводит к какой бы то ни было внетекстуальной реальности» [Женетт, с. 484]. Тогда как в мемуарном дискурсе

тексты, в которых сознательный вымысел как эстетический прием конкурирует с документальностью, отторгаются или переводятся в разряд «конвенционально негодных».

Итак, беллетристичность очерков Иванова была разоблачена критикой с самого начала. И Ахматова имела все основания быть уверенной, что использование их в качестве документального источника попросту невозможно. Примечательно в этой связи свидетельство П. Лукницкого о разговоре Ахматовой с Чулковым, в котором речь шла о недобросовестности некого Альтмана, записывавшего свои беседы с Вяч. Ивановым и вопреки воле последнего намеревающегося свои записки издать.

> АА передала мне этот разговор как пример недостойного человека и заметила, что у Альтмана все искажено и поэтому его записи все равно цены не имеют. Что он искажал намеренно — есть такие люди, способные на это; второй пример этому — Г. Иванов [Лукницкий].

Это может объяснять, почему у Ахматовой вплоть до конца 1950-х гг. не возникало необходимости «дезавуировать» книгу Г. Иванова. До этого времени она, вероятно, была убеждена в том, что «Петербургские зимы» не могут быть серьезно признаны в качестве «документа эпохи». Реакция Ахматовой — это реакция не на текст, а на его переход из дискурса беллетристики в дискурс мемуаристики.

Это доказывает изменение тона ахматовских реплик в записных книжках. В примечании 1958 г. к заметке «О. М<андельштам>» ее критика была направлена прежде всего на непрофессионализм Л. Страховского:

> Если хотите, я подробно опишу, как это сделано в данном случае. У Шацкого[2] под рукой две книги достаточно «пикантных» мемуаров — Г. Иванов и Эренбург. ...в сборнике «Стихотворения» (1928) находится *последнее* по времени стих<отворение> М<андельшта>ма «Музыка на вокзале». Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно — 1945 г. (на семь лет позже действительной смерти). <...> То, что в ряде журналов и газет до самого его ареста (май 1934) печатались Стихи М<андельшта>ма (хотя бы великолепный цикл «Армения» в «Новом мире»), Шацкого нисколько не интересует. Он объявляет, что на стих<отворении> «Музыка на вокзале» Мандельштам кончился, стал жалким переводчиком (М<андельштам> почти ничего не переводил), бродил по кабакам и т. д. (Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова), и вместо трагической фигуры [замечательного] редкостного поэта, который и в годы ссылки в Воронеже продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, мы имеем «городского сумасшедшего», проходимца, опустившееся существо. И это в книге, вышедшей под эгидой лучшего и т. д. университета Америки (Гарвардского) [Записные книжки, с. 18].

[2] Ахматова имеет в виду Л. Страховского, чей псевдоним «Л. Чацкий», писавшийся латиницей, она транслитерировала по-своему.

Итак, сославшись на текст «Петербургских зим» как на мемуарный документ, Страховский наделил его фактуальностью. Судя по саркастическому замечанию «Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова», Ахматова прекрасно помнила о давних (еще с 1910-х гг.) приятельских отношениях Страховского и Иванова и этим объясняла излишнюю доверчивость и некритический подход Страховского к выбору источников. Одновременно она таким образом высказала, пока лишь косвенно, и обвинение в адрес Г. Иванова, поскольку как художник он мог позволить себе свободную трансформацию жизненного материала, но, сознавая ответственность, должен был бы предостеречь Страховского от транспонирования своей книги в мемуарный, а затем и в научный историко-литературный дискурс. В соседстве с гораздо более явными ошибками (например, неверным указанием даты смерти Мандельштама) ссылка на «беллетризированные мемуары» Г. Иванова представлялась Ахматовой только одним из проявлений недобросовестности Страховского как исследователя и научной несостоятельности его работы. Вот, вероятно, почему цитата из «Петербургских зим» о ее выступлениях в Доме литераторов, использованная в той же книге «Craftsmen of the Word. Three Poets of Modern Russia: Gumilyov, Akhmatova, Mandelstam» (1949), осталась до времени как будто не замечена ею.

Но уже через три года интонация Ахматовой приобретает предельную жесткость:

> ...настало время до конца разоблачить эти смрадные «мемуары» Г. Иванова, а не писать о них с явным сочувствием, как это делает синьор Ло Гатто в только что вышедшей книге. Вероятно, он поступает так, потому что нет ничего другого. Но, по моему мнению, лучше ничто, чем заведомая ложь [Записные книжки, с. 146];
>
> Вот такой упрек можно сделать даже самому пристойному из них — Штаммлеру. Он указывает как литературу о нас книгу Страховского, очевидно, еще не разоблаченную [Там же, с. 147];
>
> Глеб Струве непонятно мягко пишет о «Зимах». Это — вреднейшая книга [Там же, с. 263];
>
> 4) Страховский — просто самозванец. 5) Г. Иванов должен быть дезавуирован как оболгавший всю эпоху, весь «серебряный век», неграмотный и бездельный хулиган [Там же, с. 318].

Не будем, однако, забывать, что процитированные записи взяты из рабочих тетрадей, что объясняет их иногда шокирующую резкость.

Публично Ахматова разыгрывала эту партию гораздо сдержаннее. В воспоминаниях о Мандельштаме, изданных в 1965 г. в альманахе «Воздушные пути», примечательно отредактирован процитированный выше черновой вариант 1958 г., где впервые появилась критика Л. Страховского и Г. Иванова. Ахматова добавляет:

> Все, что писал в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале 20-х годов и зрелого Мандельштама

вовсе не знал, — мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды [Ахматова, 1965, с. 42].

Но радикальная семантическая перестройка произведена во фразе «Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова». В публикации 1965 г. она выглядит так: «Это уже, вероятно, устная информация *какого-нибудь парижского* (курсив мой. — *И. Е.*) Георгия Иванова» [Там же, с. 43]. Эпитет «парижский» здесь поддерживает утверждение о неосведомленности мемуариста в «российских делах», а неопределенное местоимение «какой-нибудь» трансформирует имя Георгия Иванова из собственного в нарицательное, делая его номинацией всех, подобных его носителю, лжемемуаристов.

Так что же произошло в начале 1960-х гг.? Что побудило Ахматову начать кампанию по «дезавуированию» Г. Иванова и Л. Страховского?

Дело в том, что фрагмент из «Петербургских зим» стал кочевать из одной научной публикации в другую, превращаясь, по определению самой Ахматовой, в «окаменелую цитату».

Я не стала бы вспоминать об этих делах «давно минувших дней», если бы этой страничке из меморий Г. Иванова так по-особенному не повезло в зарубежной прессе. Она стала для всего мира канвой для моей послереволюционной биографии. Ее перевел и напечатал в своей книге («Гумилев, Ахматова, Мандельштам») Страховский (1949), ее я узнаю в писаниях Харкинса, Di Sarra, Ripellino, а друзья говорят мне: «Охота Вам обращать внимание». Может быть, и не охота, но совет странный. Если я в течение пятидесятилетней литературной деятельности ни разу ни против чего не возражала, это все же что-то значит, и на мое возражение можно бы обратить внимание [Там же, с. 145–146].

Подобное тиражирование окончательно утвердило ивановские «сны» в статусе достоверного мемуарного источника, на свидетельстве которого базировалась становящаяся уже общепринятой концепция творческого пути Ахматовой 1920–1930-х гг. При этом всякий раз так или иначе воспроизводилась версия Л. Страховского о причине многолетнего молчания поэта:

Anno Domini seemed to mark the end of Akhmatova's literary career. She stopped publishing, although she did not stop writing. <...> Years went by, but Akhmatova's "brittle voice" remained silent. And then in 1940 there appeared a collection of her selected lyrics under the title *Iz Shesti Knig* (From Six Books), which included an entire new section entitled *Iva*[3] [Strahovsky, p. 76–77].

[3] «"Anno Domini", казалось, ознаменовал окончание литературной карьеры Ахматовой. Она остановила публикации, но не перестала писать. <...> Годы шли, но "ломкий голос" Ахматовой молчал. Затем в 1940 году появился сборник ее избранной лирики под заглавием "Из шести книг", который включал новый раздел, названный "Ива"».

Согласно такой интерпретации событий, Ахматова сама ушла из публичной литературной жизни, когда почувствовала, что внутренняя связь с читателем утрачена и что читатель глух к ее новому голосу.

Ярким свидетельством укорененности этого взгляда может служить цитата из статьи Бориса Филиппова 1961 г., опубликованной в альманахе «Воздушные пути» вместе со второй редакцией «Поэмы без героя», а потому имевшей для Ахматовой принципиальное значение:

> Это движение от ясности к духовности, от гомофонии к полифонии было воспринято многими не как духовное и творческое возрастание, а как «измена» и «падение». Уже в самом начале двадцатых годов, как свидетельствует Георгий Иванов, большинство неистовых ранее поклонников — и особенно поклонниц — Ахматовой «...было разочаровано: — Ахматова исписалась». <...> Как же должны были усилиться эти осуждающие Ахматову голоса после появления поэмы «Шаг времени» (первая появившаяся в печати редакция триптиха) и «Поэмы без героя»! [Филиппов, с. 168–169].

Итак, ситуацию второй половины 1920-х гг., когда произведения Ахматовой перестали издаваться, Л. Страховский и вслед за ним другие исследователи, основываясь на воспоминаниях Г. Иванова, объясняли в духе романтического конфликта поэта, «с каждым годом головой перерастающим самое себя», и косной публики, которая ждала «новых перчаток с левой руки на правую» и которая была «разочарована»: «Слушатели недоумевали — “большевизм какой-то”. По старой памяти хлопали, но про себя решали: кончено — исписалась» [Иванов, т. 3, с. 647–648]. Ссылаясь на этот эпизод «Петербургских зим» (который Г. Иванов в позднейших изданиях из текста книги изъял), Л. Страховский присвоил статус документального факта субъективному восприятию мемуариста, а причину отсутствия публикаций Ахматовой после издания «Anno Domini» вплоть до 1940 г., когда вышел сборник «Из шести книг», объяснил ее добровольным «молчанием».

Оба эти факта и спровоцировали резкую реакцию Ахматовой. В записной книжке 1961 г. можно найти набросок ее статьи «Ахматова и борьба с ней», в которой она дает свое объяснение: не конфликт с широкой читательской аудиторией, а репрессивно-политические причины лежали в основе вынужденного, а не добровольного отстранения поэта от публичной литературной деятельности.

> Нормальная критика тоже прекратилась в начале 20-ых годов (попытки Осинского и Коллонтай вызвали немедленный резкий отпор), на смену ее пришло нечто, может быть, даже беспрецедентное, но во всяком случае [совершенно] недвусмысленное. Уцелеть при такой прессе по тем временам казалось совершенно невероятным. Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели [Записные книжки, с. 139].

Сложная, во многом не столь однозначная, как это представлено и в ахматовских записках, ситуация конфликта Ахматовой с советской литературной критикой и цензурой в 1920–1930-е гг. была подробно рассмотрена в книге

В. Мусатова «“В то время я гостила на земле...” Лирика Анны Ахматовой». Исследователь, с одной стороны, поставил под сомнение утвердившееся в российском ахматоведении конца XX в. представление о том, что Ахматова «подверглась в 20-е годы целенаправленному и систематическому гонению, выразившемуся в запрете ее стихов» [Мусатов, с. 250], и, приведя цитаты из критики тех лет, направленной как против Ахматовой, так и в ее защиту, заметил, что подобные утверждения необходимо признать «по меньшей мере, преувеличенными»: «...в 20-е годы никто всерьез не считал Ахматову политически неприемлемой фигурой» [Там же, с. 255]. С другой стороны, В. Мусатов вспоминает статью Г. Лелевича 1924 г., в которой прямо было сказано о «глубочайшей нутряной антиреволюционности Ахматовой», и историю ахматовского двухтомника, договор на который был подписан в июле того же года, но который так и не был издан даже после обращения к властям К. Федина уже в 1929 г.

В записных книжках Ахматовой есть составленный ею список неизданных или уничтоженных сборников с небольшим предисловием:

> После моих вечеров в Москве (весна 1924) состоялось постановление[4] о прекращении моей лит<ературной> деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на лит<ературные> вечера. <...>
>
> Между 1925–1939 меня перестали печатать совершенно. <...> Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет [Записные книжки, с. 28].

Всё это, очевидно, идет вразрез с той версией долгого «молчания» поэта, которая прочно утвердилась после выхода книги Л. Страховского и с которой Ахматова так настойчиво спорила.

Ахматова *vs* Щеголев

Статья «Александрина» отпочковалась примерно в 1961 г. от большой темы «Гибель Пушкина», которой Ахматова начала заниматься еще до войны. В качестве эпиграфа к ней Ахматова предполагала взять следующий текст:

> Из подслушанных разговоров:
> Один: «Как клевета похожа на правду!»
> Второй: «Да. На правду не похожа только сама правда»
> (Подслушала Ахматова)
>
> [Записные книжки, с. 303]

Отправной точкой в работе стали воспоминания князя Трубецкого, в которых утверждается, что причиной дуэли Пушкина и Дантеса была ревность, но ревновал поэт не жену — Наталью Николаевну, а ее сестру — Александру,

[4] «Постановление ЦК», о котором, по воспоминаниям Ахматовой, рассказала ей М. Шагинян, биографами не найдено. Высказывались предположения, что, возможно, имелась в виду знаменитая резолюция 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы».

с которой был в предосудительной связи. Мемуары Трубецкого, изданные крошечным тиражом в 10 экземпляров, были полностью воспроизведены и критически осмыслены в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Позиция Щеголева такова: «...как объяснение дуэли эта история просто никуда не годится. У Трубецкого нет фактов, нет намека на факты. <...> Такое заявление из уст князя Трубецкого — пустой звук» [Щеголев, с. 359]. Однако Щеголев подвергает сомнению только связь между дуэлью и возможным романом Пушкина и Александрины («история с Александриной никакого отношения к дуэли Пушкина с Дантесом не имеет» [Там же]), но не сам факт того, что эти отношения имели место. Далее он задается вопросом: «...откуда же взял князь Трубецкой историю об интимной связи поэта с сестрой жены? Не выдумал же он сам». «Очевидно, в рассказе кн. Трубецкого мы должны искать отражение ходивших в свете слухов» [Там же, с. 360]. Щеголев приводит все имевшиеся в его распоряжении свидетельства «по вопросу об отношениях Пушкина и А. Н. Гончаровой», два из которых он называет «определенными указаниями»: во-первых, это один из рассказов Веры Федоровны Вяземской, записанных Бартеневым и опубликованных в 1888 г., и, во-вторых, воспоминания А. П. Араповой. Щеголев находит психологическое объяснение мотивов Араповой: «Чтобы оправдать поведение Натальи Николаевны, чтобы, так сказать, уравновесить грехи, потребовался рассказ о нарушении Пушкиным всяких супружеских обетов» [Там же, с. 363]. Но вопрос о документальности или легендарности самого факта «преступной связи» им опять никак не решается. Еще ряд цитат из писем и воспоминаний современников дает представление об устойчивости ходивших в свете слухов, при этом оставленные без комментария, они скорее свидетельствуют против Пушкина.

Ахматовский упрек Щеголеву состоял в том, что он, по ее мнению, не проявил решительности в критическом подходе ко всем этим свидетельствам: «Мы знаем, как враги Пушкина цеплялись за эту версию. <...> Легковерно принял версию и Щеголев» [Записные книжки, с. 415].

Повторенная многими мемуаристами история о преступной связи Пушкина и Александрины обрела черты правдоподобия, и для опровержения ее Ахматова находит единственно возможный способ — выявить первоисточник (настоящего автора), причины и цель создания лжесвидетельства и обнажить механизм его распространения и тиражирования.

«Отправной точкой» этой истории, по мнению Ахматовой, было намерение Геккерна дискредитировать дом Пушкиных, возникшее после резкого отказа Пушкина иметь какие-либо отношения с семьей Дантеса и Екатерины Гончаровой («по тогдашним нравам это был скандал невероятный» [Ахматова, 1989, с. 136]). Однако распространителем этой лжи стал не сам ее создатель («Это было бы наивно и облегчило бы слушателям найти концы» [Там же, с. 136–137]). Для этого, как считает Ахматова, была выбрана Софья Карамзина, «находящаяся под очевидным и непрерывным влиянием Дантеса». Доказательством этого служит отрывок из письма Карамзиной от 27 января 1837 г.: «...Александрина

по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который сериозно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то своячницу — по чувству» [Ахматова, 1989, с. 137].

Но от кого Карамзина это узнала, кто был первоисточником «информации»? Ахматова уверена — тот же, кто был источником и для Идалии Полетики, которая через полвека «напомнила» Трубецкому «истинные» причины дуэли Пушкина.

> Эта чудовищная нелепость, так возмутившая Щеголева, — несомненно, версия Дантеса.
>
> <...> Это он внушил С<офье> Н<иколаевне> и Трубецкому версию романа Пушкина с Александриной. Кроме его голоса, нет ничего в мемориях Трубецкого [Там же, с. 139–140].

Ахматова также приводит серьезный довод и в подтверждение того, что тиражирование этой «легенды» — явление уже более позднего времени: скандальность ситуации (если бы она существовала на самом деле) не позволила бы Александрине в 1839 г. стать фрейлиной.

Итак, Ахматова не только не «аннулирует» записки Трубецкого как несоответствующие мемуарному дискурсу, но использует их как документ, доказывающий, что слухи о связи Пушкина со своячницей были заведомой ложью, целью которой была дискредитация поэта и его семьи, и, что гораздо важнее, разоблачающий сам механизм создания и распространения этой клеветы. Как исследователь, имеющий в своем распоряжении заведомо недостоверный источник, она следует той логике, которую позже сформулирует Ю. М. Лотман:

> ...само понятие «достоверности» обладает известной относительностью. <...> дело сводится к соответствию между типом источника и методикой его обработки. При наличии методов дешифровки заведомая фальшивка может быть источником ценных сведений [Лотман, с. 325].

П. Щеголев отверг воспоминания Трубецкого, справедливо расценивая их как сомнительные и потому неинформативные, не дающие никакой правдивой информации. Ахматова же доказывает обратное:

> Щеголев недооценил мемуары Трубецкого. <...> Все, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — голос Дантеса, подкрепленный одесскими воспоминаниями Полетики. <...> Таким образом, воспоминания Трубецкого из маразматического бормотания, которое так возмущало Щеголева, превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса [Ахматова, 1989, с. 141].

Чем эти два случая интересны для нас? И в первом, и во втором — в фокусе рецепции Ахматовой оказываются мемуары, которые она оценивает как недостоверные. Но если воспоминания Г. Иванова как свидетельство отвергаются ею категорически, то записки князя Трубецкого признаются документом «первостатейной важности». Почему?

Здесь следует задаться вопросом о самом характере фикциональности («ферменте “недостоверности”»), имеющей место в каждом из текстов. Принципиально важным в поле мемуарного дискурса является изначальная позиция автора по отношению к воссоздаваемой им исторической реальности, а именно — запрет на сознательное привнесение вымысла. Как справедливо указал А. Тартаковский, наличие «даже элементов вымысла настолько “видоизменяет” мемуарный жанр, что разрушает его в самых фундаментальных основаниях» [Тартаковский, с. 44], переводит текст в разряд других литературных жанров, которые лишь имитируют его форму. Допуская субъективность как свою конститутивную черту, ошибки памяти или заблуждения рассказчика, ограниченность его знания и понимания событий, мемуарный дискурс признает «конвенционально негодным» только текст с установкой автора на *fictio*, на нерелевантность границ между документальным и вымышленным.

Примером подобного текста и являются воспоминания-сны Г. Иванова. В статье, посвященной сборнику «Китайские тени», Н. Грякалова доказывает, что его автор «отдает предпочтение модернистской стратегии противоречивой манипуляции с образом реальности, распространяя ее на жанр, традиционно претендовавший на документальность, — мемуарный. <...> ...это колеблет дистанцию между фактом и фикцией, вымыслом и реальностью, создавая иллюзию подлинности изображаемого, превращая мемуарное повествование в квазимемуарное» [Грякалова]. Ту же нарративную игру Иванов использовал и в «Петербургских зимах». И потому включение их в мемуарный дискурс, произведенное Л. Страховским, а за ним и другими исследователями, и непрепятствование этому со стороны самого Г. Иванова виделось Ахматовой безответственным и принципиально недопустимым.

В случае же с воспоминаниями князя Трубецкого читатель имеет дело не с фантазией, а с заблуждением автора. Трубецкой достоверно передал то, что ему рассказали и в правдивости чего был сам убежден: «Вскоре после брака Пушкин сошелся с Alexandrine и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению. Alexandrine созналась в этом г-же Полетике» [Щеголев, с. 355]. Из этого и исходила Ахматова, выстраивая свою версию событий с появлением и распространением этой выдумки. Передаваемый «факт» предосудительной связи Пушкина и Александрины недостоверен, но «событие рассказывания» сохраняет документальность. Мемуары Трубецкого не нарушали «установки на подлинность» и потому не только остались для Ахматовой в рамках соответствующего дискурса, но и послужили важным историческим источником.

Итак, эти примеры показывают, что граница, разделяющая тексты, созданные в жанре мемуаров, на соответствующие или не соответствующие мемуарному дискурсу, определяется не столько достоверностью или недостоверностью излагаемых в них фактов, сколько сознательной установкой автора либо на принципиальный отказ от вымысла, либо на легитимацию собственной фантазии. Нарративная стратегия свободного смешения фикционального и фактуального делает текст «конвенционально негодным» и «аннулирует» его в качестве мемуарного дискурса.

Источники

Ахматова А. Мандельштам // Воздушные пути : альманах. Вып. 4. Нью-Йорк, 1965. С. 23–43.

Ахматова А. О Пушкине: статьи и заметки. М. : Книга, 1989.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой ; вступ. ст. Э. Г. Герштейн ; науч. консультирование, вводные заметки к записным книжкам, указатели В. А. Черных. М. ; Torino : Giulio Einaudi editore, 1996.

Иванов Г. Собрание сочинений : в 3 т. М. : Согласие, 1994.

Щеголев П. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М. : Книга, 1987.

Strakhovsky L. I. Craftsmen of the Word. Three Poets of Modern Russia: Gumilyov, Akhmatova, Mandelstam. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1969.

Исследования

Гинзбург Л. О психологической прозе. Л. : Худож. лит., 1977.

Грякалова Н. «Китайские тени» Георгия Иванова: Фикция как прием // Russian Studies. Seoul. 2010. № 4. URL: http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/88296 (дата обращения: 12.05.2019).

Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. Т. 2. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. URL: http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/vymysel-i-slog.htm (дата обращения: 12.05.2019).

Крейд В. Георгий Иванов в двадцатые годы // Новый журн. 2005. № 238. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2005/238/kreid10.html (дата обращения: 12.05.2019).

Лотман Ю. М. К проблеме работы с недостоверными источниками // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960—1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб. : Искусство-СПБ, 1995. С. 324–329.

Лукницкий П. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 2 : 1926–1927. Париж : YMCA-Press ; М. : Рус. путь, 1997. URL: http://lib.ru/PROZA/LOUKNITSKIY_P/a2_.txt (дата обращения: 12.05.2019).

Мусатов В. В. «В то время я гостила на земле...» Лирика Анны Ахматовой. М. : Словари.ру, 2007.

Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры // Вопр. литературы. 1999. Январь-февраль. С. 35–55.

Тюпа В. Жанр и дискурс // Критика и семиотика. Вып. 15. Новосибирск ; М., 2011. С. 31–42. URL: http://www.philology.ru/literature1/tyupa-11.htm (дата обращения: 12.05.2019).

Филиппов Б. Заметки к поэме А. Ахматовой // Воздушные пути. Альманах. Вып. 2. Нью-Йорк, 1961. С. 167–183.

References

Filippov, B. (1961). *Zametki k poeme A. Akhmatovoy* [Notes to a Poem by A. Akhmatova]. *Vozdushnyye puti, 2*, 167–183. (In Russian)

Genette, G. (1998). *Figury* [Figures] (Vol. 2). Moscow: Izd-vo im. Sabashnikovykh. Retrieved from http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/vymysel-i-slog.htm. (In Russian)

Ginzburg, L. (1977). *O psikhologicheskoy proze* [On Psychological Prose]. Leningrad: Khudozhestvennaia literatura. (In Russian)

Gryakalova, N. (2010). *"Kitayskiye teni" Georgiya Ivanova: Fiktsiya kak priyem* [*Chinese Shadows* by Georgy Ivanov: Fiction as a Tool]. *Russian Studies*, 4. Retrieved from http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/88296. (In Russian)

Kreid, V. (2005). Georgy Ivanov v dvadtsatyye gody [Georgy Ivanov in the 1920s]. *Novyj zhurnal*, 238. Retrieved from http://magazines.russ.ru/nj/2005/238/kreid10.html. (In Russian)

Lotman, Yu. M. (1995). K probleme raboty s nedostovernymi istochnikami [On Treating Unreliable Sources]. In Yu. M. Lotman, *Pushkin: Biografiya pisatelya; Stat'i i zametki, 1960—1990; "Yevgeny Onegin": Kommentarij* [Pushkin: Biography of the Writer; Articles and Notes, 1960–1990; *Eugene Onegin*: Comments] (pp. 324–329). St Petersburg: Iskusstvo-SPB. (In Russian)

Luknitsky, P. (1997). *Acumiana. Vstrechi s Annoy Akhmatovoy* [Acumiana. Meeting Anna Akhmatova] (Vol. 2 : 1926–1927). Paris: YMCA-Press, Moscow: Russkiy put'. Retrieved from http://lib.ru/PROZA/LOUKNITSKIY_P/a2_.txt. (In Russian)

Musatov, V. (2007). *"V to vremya ya gostila na zemle..." Lirika Anny Ahmatovoy* [*"At that time I was a guest on earth..."* Poetry by Anna Akhmatova]. Moscow: Slovari.ru. (In Russian)

Tartakovsky, A. (1999, January-February). Memuaristika kak fenomen kul'tury [Memoirs as a Phenomenon of Culture]. *Voprosy literatury*, 35–55. (In Russian)

Tyupa, V. (2011). Zhanr i diskurs [Genre and Discourse]. *Kritika i semiotika, 15*, 31–42. Retrieved from http://www.philology.ru/literature1/tyupa-11.htm. (In Russian)

Ерохина Ирина Владиславовна
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и литературы
Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого
300025, Тула, пр. Ленина, 125
E-mail: irma975@yandex.ru

Erokhina, Irina Vladislavovna
PhD (Philology), Associate Professor
Department of Russian Language and
Literature
Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University
125, Lenin Ave., 300025 Tula, Russia
Email: irma975@yandex.ru